Рецензии

Александр Филиппов

Общее, общественное и публичное в их преемственности и изменении. Рецензия на книгу:

От общественного к публичному / Под редакцией О. В. Хархордина. СПб.: Европейский университет, 2011. 529 С.

Большая книга, вышедшая в амбициозной серии публикаций [Res Publica], построена весьма искусно. Редко бывает так, чтобы если не в *первой*, то, во всяком случае, уже во *второй строке Введения* (написанного О. В. Хархординым) основная проблема была поставлена столь масштабно и сформулирована столь радикально. В вопросе «почему в России так много общего и так мало общественного?» (С. 7) соединяются теоретико-социологическая и актуально-политическая линии проекта, замысел которого излагается далее в высшей степени буднично. Книга о дружбе[1] «повторила то, что понимают

Филиппов Александр Фридрихович — д. соц. н., ординарный профессор, директор Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Социологическое обозрение». Научные интересы: теоретическая социология, теория событий, социология пространства, политическая философия.

1 Дружба: Очерки теории практик/Под ред. О. Хархордина. СПб.: Издательство ЕУСПБ, 2009.

многие»[1], а потому «логично было бы спросить: почему у нас так много феноменов, которые схватываются категорией „общий“ … и так мало тех, которые относятся к категории „общественный“ … Почему мы все способны на дружбу, но не можем создать действенное общество?» (С. 7). Поначалу не только изучение дружбы, но и другие исследования, будь то по социологии города или, по сравнительной частоте словоупотребления терминов «общий» и «общественный», казалось бы, просто подтверждала первоначальные выводы: в российских городах много всего «общего», но мало подлинного вторжения общественности в управление и решение городских проблем, а разговоры об «общем» резко участились после Октябрьской революции, тогда как слово «общественный» стали употреблять много реже. Однако постепенно, говорит О. В. Хархордин, эмпирические данные стали показывать иную картину. Так, «общественного» у нас совсем немало, а термин «общественность» переживает эпоху бурного расцвета, и никогда в России им не пользовались столь интенсивно, как сейчас (исследование К. С. Федоровой). «Общего» у нас так много, если не замечать различий в словоупотреблении; а вот когда мы дифференцируем подвиды «общего», тогда окажется, что один из них господствует, а другие как бы на периферии (исследование Б. С. Гладарева). Наконец, «экскурсы в историю понятий показали, что есть и другой „герой нововременных битв за свободу“ — это термин „публика“» (С. 11). Правда, он так и не занял «дискурсивного трона», все разговоры о публичном выглядят и сейчас «дискурсивно слабыми», тогда как термин «общественность» более распространен, однако не обладает мобилизующим потенциалом, притом, что общество (исследование В. Л. Каплуна) «совсем не должно всегда и во всем противостоять государству; первые русские попытки сказать что-то об этих феноменах исходили из их переплетения, если не совпадения» (С. 11). В этом месте рассуждения начинают приобретать вид несколько загадочный. С одной стороны, проблема поставлена действительно самым решительным образом, мало того, формула «почему так много общего и так мало общественного?» повторяется несколько раз, как заклинание. С другой стороны, нам словно бы предлагают «сдать назад», еще до представления собственно результатов исследования предуведомляя читателя: первоначальные предположения подтвердились не полностью, но проблема-то совсем в другом. Слово «общественность» не пробуждает интереса, огонь в глазах собеседников пропадает, как только речь

1 Многие понимают, считает автор, что «в России почти все способны на интенсивную личностную дружбу, но слабо способны на действие общественно-значимого масштаба» (С. 7).

заходит об общественном, потому что реальность, связанная с этим словом убога и непривлекательна, а «публичное» очень трудно переинтерпретировать так, чтобы освободить от неприятных ассоциаций. Внезапно оказывается, что речь идет уже не о том, чтобы только исследовать, как обстояли или обстоят дела, но о том, что со всем этим делать, причем направление желательного деяния угадывается, но не определяется со всей четкостью. Угадывается здесь, конечно, гражданское действие, угадывается и практическая, а не только познавательная, теоретическая традиция республиканизма. Но — на первом этапе — и не более того.

«Почему так много общего и так мало общественного» на языке теории может расшифровываться по-разному. «Общее» мы готовы, скорее всего, понимать как совместное, совместно переживаемое, совместно используемое, принадлежащее некоторой группе, которую сразу хочется назвать общностью. «Общественное» — это совсем другое дело. Без предварительного уточнения, что же понимается под общественным в разное время, у разных народов, в разных языках, здесь дальше вообще двигаться невозможно. Важные изменения в значении слова «общество» происходят, например, и в России, и в западных странах в течение последних столетий, при этом наша научная и социально-политическая терминология, с одной стороны, испытывает значительное влияние литературы на европейских языках, а с другой стороны, в силу исторических причин, изначально устроена по-другому. Если мы, например, должны уточнять, что «общий» и «общественный» — далеко не одно и то же, хотя слова эти однокоренные, то в немецком, английском, французском языках такого сходства нет, содержательная сторона дела не то чтобы совсем не осложнена лингвистической, но сама сложность лингвистической проблематики не связана с такого рода недоразумениями. Поэтому, стоит лишь перевести основной вопрос исследования, например, на немецкий язык, чтобы увидеть природу осложнения: «Warum ist vieles in Russland gemeinsam, nicht jedoch *öffentlich*?». Никакая игра с «общим/общинным/общественным/общением» здесь невозможна, а потому, кстати говоря, основной словарь классической немецкой социологии на русский не переводим. Напротив, игнорировать то, что сообщает нам сам язык в его исторической и социальной динамике, значит существенно обеднить возможности не только изучения, но даже корректной постановки вопроса. Поэтому вполне логичным выглядит решение открыть книгу исследованием К. С. Федоровой, демонстрирующей изменение значений слова «общество». Материал, который она привлекает для анализа, весьма обширен, а выводы представляют значительную ценность, хотя и не одинаковый интерес в части

новизны. Разумеется, *кто-то* однажды должен был именно показать и доказать, что «в практике употребления лексемы „общество“ последних двух веков происходит постепенный сдвиг, смещение акцентов. Периферийное прежде значение „вся совокупность людей“ становится центральным, вытесняя другие значения — „группа лиц“, „присутствие какого-либо лица или лиц“ на периферию словоупотребления» (С. 31). Рискнем заметить, что интуитивно здесь все было ясно и без столь внушительных доказательств, что, впрочем, не умаляет ценность данного результата в общем ходе рассуждений. Куда больший интерес представляют результаты, относящиеся к различению «интерперсонального» и «абстрактного» значений «общего». В том, что касается сравнений, проводимых автором, по меньшей мере, с немецким языком, здесь можно было бы и поспорить («gemein» имеет значение не только интерперсональности, а «gesamt» — вообще не то же самое, что, например, «general» в английском), но аргументы автора весьма важны: хотя «в реальном словоупотреблении не всегда можно провести границу между интерперсональным и абстрактным значением лексемы „общее“» (С. 41), все-таки можно установить, что по мере увеличения количества участников ситуации и их деперсонализации, «„общее“ приближается к абстрактному семантическому варианту» (С. 44). Мало того, постепенно семантическая определенность размывается настолько, что слова «в общем» не значат почти ничего. Как изящно формулирует автор, лексема «общий» функционирует «в дискурсе в качестве неинформативного заполнителя хезитационных пауз» (С. 46). Наконец, автор прослеживает карьеру еще двух важных лексем: «общественность» и «сообщество». «Сообщество», говорит автор, побеждает в «конкурентной борьбе» и «берет на себя функции „общества“, значение которого стало слишком абстрактным, универсальным, „ничем“, с точки зрения конкретного индивида...» (С. 62).

Результаты исследования могут, как нам кажется, лишь отчасти удовлетворить читателя, несмотря на то, что многое в них вполне резонно и хорошо обосновано. Главное, что нуждается, возможно, в дальнейшей, прежде всего, теоретико-методической проработке, состоит в следующем. Прежде чем делать вывод о том, как через призму языка дает о себе знать общее и общественное, исследователь должен, говоря словами Лумана, поставить вопросы: «где находится наблюдатель?» и «какими различениями пользуюсь я сам как наблюдатель при наблюдении?». Эти вопросы тесно связаны между собой. Один и тот же язык не может быть объектом наблюдения и средством описания наблюдаемого. Если мы готовы молчаливо согласиться с тем, что мир таков, каким

членит его язык, то слова «общее», «общественность», «общество» и «сообщество» что-то означают для исследователя, а не только для тех, кто (помимо исследователя) говорит и пишет на нем. Конечно, К. С. Федорова отнюдь не страдает методологической наивностью, и она вполне справедливо могла бы ответить на эти возражения, указав на то, что дистанция по отношению к объекту анализа является, во-первых, временной (исследователь анализирует эволюцию словоупотреблений), а во-вторых, социальной. Социальная же дистанция возникает не потому, что исследователь принадлежит к некоторой обособленной социальной группе с собственным языком, а в силу рефлексивности, то есть, попросту говоря, потому, что исследователь именно *не* наивен, но проясняет смысл произносимого и написанного также и для себя самого. Однако здесь-то и кроется, как нам кажется, основная сложность. Представим себе, конечно, с известным усилием, что речь идет не об обществе, но о каком-то ином объекте, так что в определенный момент времени мы устанавливаем: наблюдаемые участники социального взаимодействия называют кошку кошкой. Иначе говоря, мы тоже знаем, что это кошка, и это помогает нам затем описать происходящую эволюцию, в результате которой конвенция меняется, и кошку начинают звать мышкой. Мы, в свою очередь, точно знаем, что кошка осталась кошкой, поменялось только имя. Этот случай совершенно не похож на ситуацию с лексемами «общий», «общество» и т. д. Кошка осталась кошкой, как ее ни назови, а вот общество меняется от того, как его понимают те, кто его образуют. Здесь значение лексем недвусмысленно свидетельствует о социальной реальности. Таким образом, все в порядке? — Не совсем так. Ведь если вместе со словами поменялся и сам субстрат, мы должны как-то обозначить то, *что* меняется. Но если субстрат меняется вместе с обозначениями, что остается в нем от «того же самого» субстрата? Иначе говоря, существовали или нет, например, двести-триста лет назад те безличные связи, которым соответствует «абстрактное значение лексемы» или они появились вместе с этим значением как результат изменений того неназываемого субстрата, который и производится теми или иными взаимодействиями людей? Можно сформулировать вопрос и по-другому: не получается ли так, что именно динамика значений и производит собственно динамику неназываемого субстрата?

Эти вопросы, как мне кажется, не являются чем-то несущественным, внешним для исследования К. С. Федоровой, но это не значит, что задачей автора было непременно поставить и разрешить их. Дело в другом: существовал ли у всего авторского коллектива единый и консистентный категориальный аппарат, использование которого позволяло бы проводить различение

между собственной теоретико-методологической позицией автора и тем, что наблюдатель обнаруживает в социальной реальности? Введение и Заключение, написанные О. В. Хархординым, наводят на мысль об утвердительном ответе на этот вопрос, а чтение других материалов скорее вызывает сомнения, хотя замена определений описаниями отчасти помогает улучшить ситуацию.

Самое большое место в книге занимает работа Б. С. Гладарева, которая представляет огромную ценность независимо от того, разделяем ли мы точку зрения автора и согласны ли с его анализом, — просто как уникальный социографический материал по истории социальных движений «Группа спасения памятников истории и культуры» и «Живой город». Если часть вопросов, поставленных К. С. Федоровой, можно, несколько огрубляя, свести к тому, почему и в каком смысле общее не мотивирует, не становится движущей силой социального действия, то исследование Б. С. Гладарева как раз отвечает на эти вопросы путем демонстрации того, как именно, в каком контексте возникает такая мотивация и насколько далеко она простирается. При этом теоретическая позиция автора, и это весьма существенно для его подхода, определена с самого начала: это теоретическая оптика, как говорит Б. С. Гладарев, «французской прагматической социологии» Лорана Тевено, Люка Болтански и Бруно Латура. Конечно, ставить в один ряд Латура *и* Тевено с Болтански надо с большой осторожностью, но, во всяком случае, такое объявление о теоретических предпочтениях в работе, основанной на полевых исследованиях, выгодно отличает ее от многих других, тем более что автор не ограничивается декларациями, а хорошо показывает, что, по его мнению, действительно можно взять у названных им авторов и как этим пользоваться. Оборотная сторона такого решения очевидна: вместе с оптикой автор перенимает и ограничения, налагаемые ею, а поскольку она не дорабатывается собственно теоретическим усилием, не ставится под вопрос, выход за ее пределы становится не то чтобы совершенно невозможным, но более вероятным тогда, когда реальность оказывает самое ощутимое сопротивление теории. Для принципиально полевого исследования это, конечно, вполне возможно.

Воспроизвести даже самые важные результаты Б. С. Гладарева в рецензии значило бы выйти далеко за пределы всех возможных объемов. Мы ограничимся поэтому заведомо неполным перечислением того, что показалось первостепенно важным. Итак, прежде всего, повторим еще раз, автор изучает именно тот род активности, который представляется очень проблематичным именно в виду проблематичности «общего» и «общественного». Главное заимствование из Тевено состоит здесь в различении

трех «режимов вовлеченности»: режимов близости, планового действия и оправдания. А это, в свою очередь, ведет к тематизации в рамках полевого исследования ряда положений, связывающих социологию с политической философией. Тевено ставит вопрос о конструкции «мы» и отвечает на него, различая три способа построения общности: через величие общего блага, через координацию индивидуальных действий в публичной сфере либерального общества и через повседневную интеракцию (общее как близкое). В этом последнем случае автор подчеркивает (сильнее, чем Тевено) *пространственный аспект близости*. «В *композиции „общее через близкое"* коммуникация происходит через сближение личных особенностей индивидуализированных акторов через разделяемые ими общие места, общий опыт. Само понятие *общего места* подразумевает близость, иногда означает просто территориальную близость...» (С. 85; курсив автора). К этому добавляется намерение автора, рассматривать архитектурно-человеческий комплекс как некое действующее единство, *актант*. С этим теоретическим инструментарием Б. С. Гладарев и подступает к анализу и пристрастному, открыто ангажированному, описанию движений в защиту архитектуры Петербурга. Благодаря различению режимов вовлеченности и пониманию социально-архитектурных комплексов как актантов ему, как кажется поначалу, удается сочетать трудносочетаемое: внимание к широкому социальному контексту происходящего и детальное, очень внимательное воспроизведение близких связей между людьми-в-пространстве повседневного общения, протекающего в той самой особенной архитектурной среде.

Здесь много весьма ценного материала, изложенного к тому же очень увлекательно. От рассказов о почти столетней борьбе за сохранение культурного наследия города невозможно оторваться. Источники, привлекаемые автором, многообразны и обширны. Однако собственно аналитическая составляющая, безусловно, является в высшей степени дискуссионной. Начнем с общих соображений. Исследование, как мы видим, в теоретико-методологическом отношении многим обязано «прагматической социологии». Универсальная применимость тех или иных понятий и схем — это очень больной вопрос. Автор пытается снять его, указав на то, что Тевено проводил много сравнительных исследований, так что подход его не ограничивается одной только Францией или Европой. Пусть так, хотя для обоснования универсальности этот аргумент обладает лишь ограниченной пригодностью. Однако главное — совсем в другом. Характеризуя режимы вовлеченности, Б. С. Гладарев демонстрирует нам схему нарастания вовлеченности, так сказать, транспонированную в то время и ту среду, которые

он по преимуществу изучает. Получается вроде бы неплохо. Вот, например, говорит автор, в режиме близости у петербуржца возникает дискомфорт от реконструкции Апраксина двора, с которым связаны воспоминания и привычки. Режим близости разрушен, происходит переход в режим критики и оправдания или в режим действия по плану. В первом случае человек обсуждает проблему с друзьями и коллегами и обдумывает аргументы для перехода к решительному противостоянию опасности. В другом случае он обращается к сводам правил и инструкций и пытается урегулировать ситуацию совместно с другими людьми в режиме планового действия. А если это не получается, он переходит опять-таки к режиму оправдания и критики (С. 148–151). Работает ли такое рассуждение? — Несомненно, работает, к тому же оно не только укоренено в солидной теоретической концепции, но и обладает высокой степенью интуитивной достоверности и операциональной пригодности. Но обладает ли оно необходимой теоретической полнотой и достоверностью? — Здесь есть место для сомнений. Конечно, Б. С. Гладарев *не выдумал* своего гражданина, испытывающего дискомфорт от покушений на родные и *к тому же* обладающие символическим, коллективным и *к тому же* личным значением места и устроения городского ландшафта. Точно так же он *не выдумал* и те аргументы, которыми обмениваются граждане, и те правила и инструкции, на которые они пытаются опираться в борьбе, наконец, ту идеологию важности культурного наследия, без апелляций к которой был бы невозможен переход в режим критики и оправдания. Но «не выдумать» и даже подтвердить изложение данными, взятыми, скажем из интервью и личных документов, из прессы и нормативных документов, — это еще не все. По поводу описаний каждого из трех режимов[1] можно было бы сформулировать сразу несколько возражений, как мелких, так и более принципиальных.

Начнем с режима близости. Есть важное обстоятельство, на которое неоднократно обращает внимание Б. С. Гладарев: это буквальное проживание пространства в единстве его историко-символического значения и физического наполнения или, точнее, оформления, через те социальные материальные артефакты[2], которые и составляют культурное и архитектурное наследие, являясь в то же время общей средой городской жизни. Но *откуда*

1 Мы отнюдь не склонны переоценивать значение схем Тевено и тем более рассматривать их как единственно верную теорию, но куда проще согласиться с тем, что его теоретический язык принимаем мы все и спорим, во всяком случае, не о нем.

2 В смысле Бенно Верлена.

он знает об этом? Как получено это знание? — Ответ содержится в статье: это свидетельства, личные (интервью) и документальные. Иначе говоря, реальность пропущена через нарратив, и это ни плохо, ни хорошо. Это приемлемо и даже, при удаче, похвально. Плохо то, что нарратив не опознается как таковой. Монотонные сходства свидетельств работают на интерес исследователя, но мы не видим, как тематизируется схема нарратива, мало того, нарративная идентичность свидетелей отождествляется с *самой реальностью*, хотя нетрудно предположить, что в цитируемых рассказах до нас доходит не только собственно опыт участников событий, но и та схемы отношения к опыту и его структурам релевантности, которые вырабатываются в коммуникации участниками дискуссий и движений и становятся для них затем их *априори* социальной жизни, включая исторический опыт. Но это только часть проблемы. Мы не видим также собственно наблюдений автора. Не в том смысле, что нам, читателям недостает авторских свидетельств, а в более простом и приземленном исследовательском смысле: пространство близости есть пространство повседневных путешествий, как говорил охотно цитируемый автором Мишель де Серто, но тогда логично было бы проследить хотя бы за фрагментами этих путешествий, посмотреть на то, что происходит при восприятии фрагментов города в движении, каков характер самого движения, совершается ли и в какой мере оказывается независимым от культурного фильтра кинестетический синтез пространства, то есть практическое производство мест перемещения через последовательный синтез меняющихся в движении перспектив восприятия. Конечно, существуют самые разные социологические методы, навязывать одни из них, тем более — в ущерб другим, — не лучший способ критики. Но в данном случае мы приводим лишь примеры того, что могло бы заполнить очевидную лакуну в авторских построениях, а именно, отсутствие у него (в тексте) прямого опыта наблюдений, не опосредствованных документами, свидетельства о событиях, а не о свидетельствах свидетельств событий.

Но не будем ограничиваться только режимом близости. Другой режим, режим планового действия, тоже оказывается проблематичен, с указанной выше точки зрения. Мы видим реконструкцию *post factum* тех действий, которые были схематизированы в нарративе, мы знаем, как — согласно данному историческому повествованию — протекала борьба за административный ресурс, с использованием инструкции и т. п. Но что происходило и происходит *на самом деле*, иначе говоря, как выглядит поход за документами, интерпретация документа, борьба с конкретными чиновниками вокруг интерпретации, обращение

к дополнительным ресурсам, комбинация различных стратегий и т. п.? — Все это частично можно извлечь из нарратива, но лишь частично. Наконец, режим оправдания и критики. Не будем повторяться. Здесь можно высказать сомнения, подобные тем, что были высказаны выше по поводу действия в двух других режимах. Но этим нельзя ограничиваться. В режиме оправдания и критики, если не сами аргументы, то во всяком случае основные аргументативные фигуры, черпаются не только из политической теории и философии, но и вообще из идеологических конструкций высокой степени обобщенности. Понятно, что участники борьбы за сохранение исторического наследия нашли такие аргументы. Этот ресурс действительно существует. Но только ли он один? Как вообще обстоят дела с консистентностью идеологических нарративов? Или — чтобы не приводить одни только ученые аргументы — была ли у тех, с кем воевали защитники наследия, тоже какая-нибудь идеология? Был ли там только плановый режим вовлеченности, так что корыстные цели преследовались без оглядки на режим оправдания и величие прошлого. Или там были все-таки свои конструкции, которые превращали битвы именно в битвы, а не просто торжество разума над корыстным началом? — Дело не в том, что таких оправданий просто не могло не быть — согласно логике все тех же французов. Дело в том, что без учета позиции противной стороны, точнее, видимо, сторон, все повествование выглядит немного загадочным. Сто лет идет борьба, в этой борьбе победители используют как плановые, так и культурно-идеологические ресурсы действия, но при этом на них постоянно наползает неизвестно что, не обеспеченное должным образом ни инструкциями и нормативами, ни идеологией, но все же непобедимое, потому что, повторим, война длится сотню лет и все снова возобновляется.

Наконец, автор не предлагает, как нам кажется, никаких собственных тематизаций города. Город есть то, что он есть для его защитников, он привычен, аутентичен, удобен и ценен. Этого, в общем, довольно для мобилизации, хотя мобилизация бывает разная, о чем и написано в статье — и написано превосходно (см. в особенности С. 220–245). Но вся социология города, принимающая в расчет если не понятие, то хотя бы некоторые исследовательские принципы, основанные на идее «производства пространства», требует от нас не принимать фактичность за несомненную данность. Данное *произведено*, и если защита наследия имеет дело с отвердевшей, седиментированной историей, то социология защиты наследия должна была бы задаться вопросом о социальных механизмах производства того пространства, которое защищается, — хотя бы для того, чтобы понять и социальные

механизмы атаки на это пространство и ввести их в тематическое поле исследования. По всему тексту Б. С. Гладарева разбросаны такие суждения, которые буквально напрашиваются на продолжение именно в этом направлении, так что мы бы не стали говорить о принципиальном непонимании автором этого рода задач. Можно, скорее, говорить о том, куда еще могло бы двигаться данное исследование, чем о том, чего ему не хватает в данном случае. И, пожалуй, серьезные объемы статьи, выглядящей, по существу, как книга в книге, могли бы служить дополнительным аргументом в пользу ограничений, которые нужно было установить в данном случае: все прочее не могло бы вместиться в этот текст. Именно поэтому нам кажется несколько избыточным материал последнего раздела данной статьи. Он, конечно, важен в той части, где вопрос, главный для всего авторского коллектива, переформулируется следующим образом: «Почему в нашей стране преимущественное распространение приобрела именно *композиция общности*, осуществляемая через разделение общих мест? Каковы причины ограниченной роли других способов делать что-то сообща — через делегирование или посредством консенсуса об *общем благе*?» (С. 282, курсив автора). Однако попытки ответа выводят автора далеко за пределы его эмпирического материала, в область суждений о «большом обществе». Здесь нужны дополнительные теоретические усилия и ресурсы. Свое несогласие с теми отечественными учеными, которые рассуждают об отсталости и фрагментированности нашего общества, используя концепции, выкроенные «по западным лекалам» (С. 287), автор обосновывает, снова обращаясь к «привязанности граждан к общим местам». Однако, тем самым, он скорее подтверждает, чем опровергает то, с чем спорит: если принимать «западные лекала» целиком, а не по частям, цельного, не фрагментированного «общества» у нас действительно нет. И справиться с этой проблемой через указание на «общие дела» невозможно.

Особое место в книге занимает статья Д. Я. Калугина «История понятия „общество“ от Средневековья к Новому времени: русский опыт». Как и другие исследования, она основана на большом материале. Однако способ освоения материала кажется нам в данном случае менее удачным, чем у других авторов. Так, например, статья начинается с большого экскурса в раннюю историю понятия и того, что автор называет «древнерусским субстратом». «Понятия с корнем „общ.“, — пишет он, — ...появляются в контекстах, связанных с греческим понятием *koinonia,* и обозначают различные формы единения, связи, взаимодействия» (С. 308). К этому месту сделана сноска со ссылкой на греческо-английский словарь. Автор, кажется, не отдает себе отчета в характере той операции, которую

совершает. Во-первых, никак не доказано, что до появления переводных текстов на русском с данным корнем текстов не было. Во-вторых, единение, связь и взаимодействие — совершенно разные термины, их различение — одно из ключевых для всей книги. В-третьих, значение греческого *koinonia* определяется здесь не просто по английскому словарю, но с последующим переводом английского толкования древнегреческого слова на современный русский. Между тем, вопрос как раз и состоял в том, *что* могли *похожие на* современные слова древнерусского языка значить в те давние годы и каким образом возникшее в переводах значение обрело полноценное хождение в языке. Вопрос о соотношении церковно-славянского и древнерусского, книжного и обиходного языков даже не упоминается. Это не частная придирка. Мы отнюдь не можем заведомо исключить правоту автора, говорящего о понятии христианской общности, имеющем ключевое значение для словоупотребления того времени. Но когда, переходя к светским текстам, он утверждает, что и в них в свернутом, имплицитном виде находится то же значение общего, какое можно найти в проповеднических и житийных текстах (С. 314), это вызывает сомнения[1]. Параграф 2.2 «Царь и общество», несмотря на обилие

1 Часть этих сомнений снимается благодаря Заключению, написанному О. В. Хархординым. Он приводит (С. 506–511) множество примеров, более убедительно иллюстрирующих ту самую мысль, которую формулирует Д. Я. Калугин. Ср., однако, здесь же С. 514, где говорится о попытках переводить «иноземные термины публичности русскими терминами с корнем „общ-“...», что сообщает некоторую амбивалентность аргументу Хархордина. Возможно, не лишними будут и следующие замечания. Конечно, настойчивое именование Септуагинты («Перевода семидесяти толковников») «Септагинтой» (С. 506) следует отнести, скорее, к разряду опечаток или погрешностей компьютерного набора, а утверждение, будто в ней содержится *Послание к Римлянам* (что невозможно, поскольку Септуагинта — это перевод на греческий Ветхого Завета, а *Послание к Римлянам* — текст новозаветный) — к разряду тех недоразумений, от которых никто не застрахован. Но вот что является более важной неточностью. Греческому *κοινωνία* в латинской версии Нового Завета, по крайней мере, в тех местах, на которые ссылается автор, *не* соответствует, вопреки его утверждениям, *societas*. В Послании к Римлянам (XV: 26) латинский перевод κοινωνίαν *τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς* выглядит как *conlationem aliquam facere in pauperes sanctorum*. Здесь речь идет о собирании, приношении, совместном даре нищим. В Первом послании ап. Иоанна (I: 3), которое также упоминает О. В. Хархордин, говорится по-гречески о κοινωνία, а по-латыни о *communio*, то есть общности и причастности (*et vos communionem habeat nobiscum*). Это не противоречит основному аргументу, скорее, подтверждает его, но здесь надо избежать *систематической ошибки*. В европейских языках различие между общностью и общением видно не всегда, но проявляется в некоторых случаях доста-

источников, выглядит скорее как сжатый до предела беглый курс русской истории нескольких веков, вплоть до появления «инноваций XVIII в.». В начале раздела 3 автор сообщает: «Анализ понятия „общество" в древнерусскую эпоху показал, что оно не было широко распространено и его появление в текстах можно считать скорее исключением, чем правилом» (С. 325) следует считать, как нам кажется, некоторым преувеличением, потому что анализа не было и не было никаких результатов анализа, на которые можно было бы сослаться. Вообще, материал данного раздела представляет огромный интерес и ценность, но, к сожалению, он концептуально почти не освоен, так что рассуждения об идеологических конструкциях и дискуссиях XVIII в. часто уводят автора далеко за пределы интерпретаций понятий «общество» и «государство». Некоторые важные и продуктивные суждения, например (со ссылкой на В. М. Живова) описание особенностей русского полицейского государства, в отличие от европейского (С. 333) не получают продолжения и провисают вне должного контекста. Именно отсутствие у автора концептуальной строгости и теоретически внятного сюжета заставляет нас оценить негативно даже прекрасно написанный, необыкновенно увлекательный параграф 3.3, посвященный Наказу Екатерины II и работе Уложенной комиссии, и не менее увлекательный параграф 3.4, посвященный политической идеологии этой и последующей эпохи. Здесь та же беда: много материала, имеющего несомненное отношение к теме, но при том очень слабо проработанного. Не останавливаясь специально на остальных параграфах, скажем лишь, что автору, возможно, не хватило либо времени, либо пространства. Такой объем источников просто невозможно рассматривать в рамках столь краткой (особенно если сравнивать ее с предыдущей) статьи. Материал, относящийся к началу XIX в., хорошо подобран автором и внятно проанализирован. Он также прекрасно дополняет исследование К. С. Федоровой. Но вредит ему все та же чрезмерная сжатость. Либо теоретические тезисы должны быть развернуты более детально, так, чтобы исторический материал, пусть и не служил бы для доказательства, но был достаточен для их иллюстрации, либо, наоборот, немногие тезисы подтверждались бы обширным материалом. Но в данном случае нет

точно рано, что мы и наблюдаем как раз при переводе Нового Завета на латинский язык. Главное здесь не то, какое значение имело то или иное слово, а то, как вообще проводилось терминологическое различение, из которого впоследствии вырос один из важнейших дуализмов социальной жизни и социальных наук.

ни того, ни другого, и это сильно вредит не только данной статье, но отчасти и всей книге.

По контрасту тем более отрадной выглядит методологическая ясность в исследовании В. Л. Каплуна. Он ограничивается изучением последней трети XVIII — началом XIX веков, «когда слово „общество“ широко входит в русский язык — как книжный, так и повседневный — в своем специфическом значении, связанном с концепцией общественного договора и — что особенно важно — с основными темами европейской республиканской традиции» (С. 399). В. С. Каплун также подчеркивает, что речь идет не просто о хронологическом отрезке, но о стиле мышления российского Просвещения. Иначе говоря, — и это действительно очень важно — эмпирически фиксируемая множественность словоупотребления, все то, что и до сих пор мы можем обнаружить в прессе, дневниках, официальных документах, письмах и художественных произведениях второстепенных, а то и третьестепенных авторов, сама по себе, без предварительного структурирования, не значит в данном случае почти ничего. Каким образом дело доходит до такого структурирования, мы, правда, не узнаем. В этом отношении текст, с одной стороны, проигрывает статье К. С. Федоровой, у которой видна как раз именно эта предварительная работа, а с другой стороны, сильно выигрывает у нее в плане концептуализации. Есть основная идея, идеальный тип «широкого вхождения», и то, что нам показывает исследователь, — не материал для обобщений, но, скорее, избранные примеры для анализа. «Главный тезис, который я попытаюсь обосновать в данной работе, — пишет В. Л. Каплун, — таков: категория „общество“ в своем „сильном“ специализированном общественно-политическом значении в рассматриваемую эпоху означает для образованной российской публики не то же самое, что она будет означать для общественности середины и второй половины XIX века, и не то же самое, что она значит в современном обыденном языке...» (С. 400). Автора интересуют явно или неявно отсылающие к *contrat social* представления, которые были связаны в русском книжном языке с одним из значений понятия «общество». При этом «общество» оказывается синонимом «гражданского общества», но не противопоставляется «власти» или «государству». В. Л. Каплун правильно указывает на то, что для современного читателя такое словоупотребление является неожиданным. Однако следует добавить, что в нем нет ничего неожиданного для того, кто знаком с литературой XVIII в., не говоря уже о более ранней. Собственно, речь как идет о том, что европейские понятия и ходы мысли некоторым образом приживались в России, и В. Л. Каплун настаивает на том, что приживались они в ходе процессов, в основном, сходных с европейскими. Речь идет об «эмансипаторном

проекте», хотя и применительно только к *образованной публике* (см.: С. 411–412). Тонкий, высококачественный анализ текстов А. Н. Радищева (вкупе с известным сочинением его соученика Федора Ушакова), М. Н. Муравьева, Н. М. Карамзина подтверждает основную мысль В. Л. Каплуна о том, что стиль мышления оказывается важнее политической позиции и что «словоупотребления с категориями „общество“ и „гражданское общество“» аналогичны во всех трех случаях (С. 469). Это позволяет автору рассмотреть понятия «народ» и «государство» («правление») в их специфическом преломлении в связи с понятиями «общества» и «гражданского общества». В конце XVIII — начале XIX вв. в России, считает автор, происходят принципиальные изменения в книжном языке, а уже отсюда они идут дальше, превращаются в «расхожий троп» (С. 479). Русская мысль находится в диалоге с европейской, и общество у нас перестают отождествлять с государством, причем «с точки зрения всех трех рассмотренных авторов, возникновение развитого „общества“ или „гражданского общества“, невозможно без развития „просвещения“. ... Отсюда характерное для рассматриваемого времени новое понимание „публики“ — как совокупности образованных граждан, связанных в единое сообщество посредством распространения „письмен“ через циркуляцию печатного слова» (С. 479). Именно с этой общественностью автор связывает определенную интеллектуальную традицию, в которой уважение к свободам и правам индивида сочетается с республиканским пониманием общего блага и солидарности всех граждан в рамках «общества» или «гражданского общества». Государство и общество не могут здесь противостоять друг другу, потому что государство — это механизм управления обществом (или самоуправления общества), работающий для общего блага. Конечно, он может быть испорчен (коррупция), если используется для насилия над другими людьми, но при наличии в обществе солидарности и представлений о ценности человеческого достоинства общество может взять его под контроль.

Временные и жанровые ограничения, которые столь способствовали ясному и продуктивному построению текста В. Л. Каплуна, тем не менее, играют здесь не только позитивную роль. До известной степени текст идет по кругу, мысль автора вполне ясна уже в начале и только подтверждается примерами. Между тем, тот же самый материал, возможно, следовало бы дополнительно анализировать именно как доказательство специфической ущербности не столько даже русской мысли, сколько тех моделей, которые были ею инкорпорированы. Не всегда обращают внимание на то, что «общество» или «гражданское общество», о котором идет речь в западных концепциях общественного договора, вовсе не обязательно включает в себя всех, кто живет под властью

суверена на данной территории[1]. Бывает так, что за разговорами о противостоящем государству гражданском обществе скрывается отождествление народа с «чистым обществом», публикой, образованными буржуа. У наших мыслителей, как показывает В. Л. Каплун, это совершенно очевидно. Но в таком случае общество не может не оказаться «оборотной стороной государства», и вопрос о солидарности просвещенной публики оттесняет на периферию вопрос о том, что же думали и чем жили при этом широкие непросвещенные слои населения. Иначе говоря, мы сталкиваемся, независимо от меры оппозиционности, с дискурсом расширенного за счет имущих и образованных правящего слоя, причем ни характер расширенной верхушки, ни устройство того, что, возможно, не всегда оправданно именуется государством, в конечном счете, здесь не тематизированы.

Можно ли то, что именовалось государством на Западе, именовать государством в России, — каверзный вопрос. Известно, сколь велики были различия, но следует ли отсюда, что именовать государством Россию той эпохи вообще нельзя? Во всяком случае, то, что автор не делает здесь множества оговорок, вряд ли следует ставить ему в упрек. Проблема в другом: можно ли принимать вот эту, прекрасно описанную ситуацию переноса европейского дискурса в Россию за чистую монету? Идет ли речь лишь о логике дискурса, возможности которой, как видно по тексту, быстро исчерпываются, или же в него так или иначе проникает «сама реальность», нечто неконтролируемое, непредвиденное, на что приходится реагировать с усилием несколько большим, чем то потребно для развития устоявшихся в Европе мыслительных ходов? Вероятно, в рамках небольшой по объему статьи об этом просто не должно было идти речи, но в принципе здесь могло бы открыться много интересного. Отдельно хотелось бы отметить, что в данной статье не получила отражения полицейская мысль и полицейская наука. Именно в описываемый период идеи фон Юсти и фон Бильфельдта были очень влиятельны в России, их сочинения широко переводились на рубеже веков и оказывались ресурсом для русской правительственной мысли. Полицейская наука полностью противоположна как теориям общественного договора, так и идее

1 Ср., однако, прямо противоположное суждение О. В. Хархордина: «...Понимание общества как населения, живущего под одними законами и сувереном на определенной территории, приходит в текстах сторонников естественного права и контрактной традиции...» (С. 511). Возражения против такой трактовки, по меньшей мере, Локка, высказывал в свое время Фердинанд Теннис, однако надо признать, что она и до сих пор является преобладающей в рецепции теоретиков естественного права.

гражданского общества, избирающего себе орудием или средством реализации своих намерений государство. Тем более важно было обратить на нее хотя бы некоторое внимание.

Заключение к книге потребовало бы отдельного и весьма обширного анализа. Лишь на первый взгляд может показаться, что в сжатой форме здесь О. В. Хархордин повторяет аргументы коллег. На самом деле он, с одной стороны, придает им более стройную форму, обогащая при том значительным количеством дополнительных примеров, с другой стороны, все акценты неуловимо смещаются, потому что автор — и он неоднократно акцентирует это — держит в голове *большой проект*, в котором проведенные исследования — лишь один важный этап. Если самым поверхностным образом суммировать то, что заботит его и ради чего, помимо решения сугубо композиционных задач было написано Заключение, можно говорить о поисках специфического баланса между обществом-общим и обществом-общением. Снова и снова, на исторических примерах и, в меньшей степени, через формальные аргументы, автор показывает, как дискурс и дискурсивная вместе с недискурсивной социальные реальности перекашиваются то в одну, то в другую сторону. Здесь можно было бы, конечно, вернуться к его старому и заслуживающему отдельного обсуждения доказательству того, что «при коммунизме» общества как общего было слишком много, или к любопытным трактовкам общения единомышленников (например, философских кружков), через которое прорастало нового рода единение, новое общество-общее. Но тогда, пожалуй, каждому абзацу можно было бы посвятить по трактату. Лейтмотив здесь, однако, не собственно теоретический. Это вопрос о том, как сделать так, чтобы стало возможным сквозное самоуправление, то есть участие в общих делах, чтобы оно было частью или собственным предметом общения. Возможно, для этого как раз не хватает специально препарированного языка, более широкого распространения малых обществ, занятых общими делами, и такой инфраструктуры, которая бы позволяла включаться в дела большого общества. Это, собственно, и есть республиканский проект, проект становления *насквозь* политического народа.

Критика *этого* проекта не входит в наши задачи, мы выносим ее за скобки. А на вопрос о том, что это дает собственно социологии, ответить легко. Именно большой проект делает по-настоящему осмысленными все части целого, все исследования, о которых тут шла речь. Но именно поэтому многое из того, что сейчас находится в предварительном состоянии, что не разработано или разработано недостаточно, будет, видимо, лучше понято в ретроспективе, возможно, лишь через несколько лет. И лучшее, и худшее будет заново оценено на расстоянии, и мы надеемся, что у авторов хватит энергии и настойчивости продолжать свое дело.